К18

КАМЧАТКА

Литература • Краеведение

2014

Камчатская Краевая Научная Библиотека
%00152099

Петропавловск-Камчатский
Холдинговая компания
«Новая книга»
2014

ББК 84 (2Рос-рус)6
К18

КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ С П КРАШЕНИННИКОВА
ИНВ № 1210110

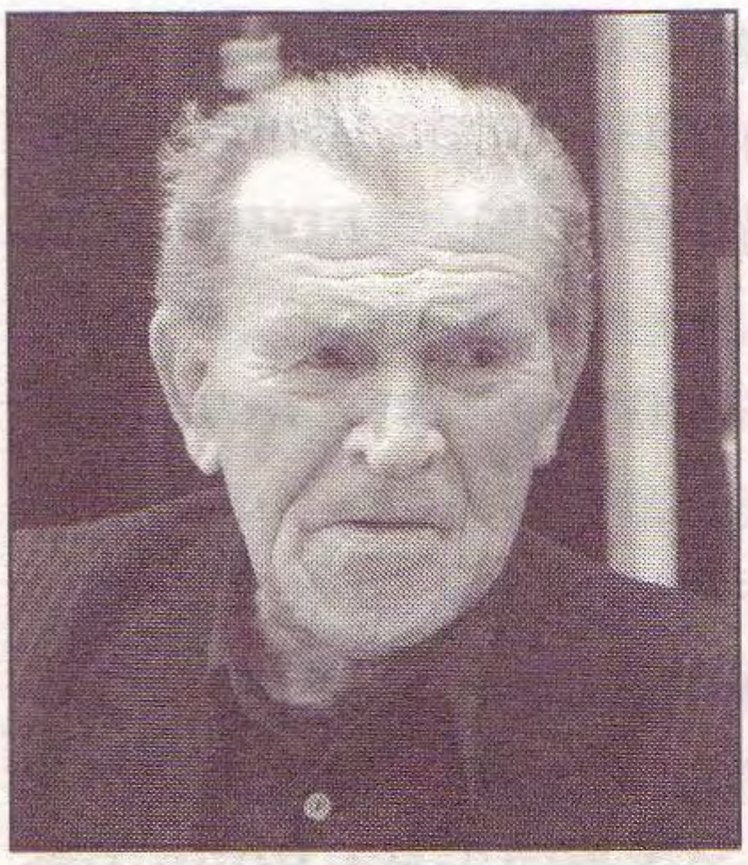
Составитель и редактор А. А. Смышляев

На обложке – картина заслуженного художника России Валерия Ефимова «Весенняя рыбалка»

Издание осуществлено при поддержке
Министерства культуры Камчатского края,
Холдинговой компании «Новая книга»
и Камчатского отделения Союза писателей России

ISBN 978-5-87750-294-9

© Министерство культуры Камчатского края, 2014
© Холдинговая компания «Новая книга», 2014
© Авторы, 2014



Евгений КОПТЕВ

ЕВДОКИЯ ЛУКИНИЧНА

Рассказ

– Ну, Евдокия, свет Лукинична, кажись, откуковали мы с тобой свою песенку, – с веселым ожесточением сказал пастух Никодим, закрывая посеревшие от непогод скрипучие ворота старого коровника. – Слыхала, нынче утром председатель распорядился весь скот на новую ферму спроваживать. Вон какую махину на центральной усадьбе шабашкина бригада отгрохала – иному дворцу уступки не даст!

– И, не ожидая ответа собеседницы, воробьиной скороговоркой продолжал:

– Да, если взять по справедливости – нам с тобой цельный год надобно задарма курортничать! Вспомни: не успело под носом обсохнуть, пошли работать, и так всю жизнь без выходных и праздников на благо народа мантулили! А что, разве не так?

– Чья бы мычала, – заметила Евдокия Лукинична, – не больно-то перетрудился! Сколько тебя помню – норовил других агитировать, ни одно собрание, бывало, без твоего пустозвонства не обходилось, а случись какая работа – все норовил петушком мимо нее проскочить!

– Будет брехать, старая кочерыжка, – фыркнул Никодим. – Вроде и жизнь к

закату катится – все тебе неймется, все стараешься человека подкусить! Заметь, на чужом горбу к престольным праздникам не ездил! А касаемо собраний – положение такое было – всяческие недостатки вскрывать!

– Можно подумать, один ты на все село умник, – сказала Евдокия Лукинична.

– Подумай, подумай на старости лет, – сказал Никодим. – Теперь у нас, кроме думок, других занятий нет.

– Ладно, пошутковали, пора и честь знать, – примирительно сказала Евдокия Лукинична, – чего доброго – глядя на ночь переругаемся.

– И то верно, – согласился Никодим, по-стариковски тяжело присаживаясь на грядку поломанной повозки. Из кармана ношенной фуфайки он вытащил мятую пачку, негнущимися пальцами старательно размял сигарету.

Коровник неуклюже громоздился на невысоком пригорке, а перед ним до самого леса тянулся кочковатый луг, покрытый редкими островками лозняка. Неподалеку капризно петляла неширокая речонка.

Ближе к лесу, тоже на пригорке, сиротливо ютились высельские дворики, где теперь с молчаливой покорностью сельских жителей доживали свой трудный век забытые людьми и смертью старики. Евдокия Лукинична отчетливо видела и свою хатенку, придавленную потемневшей соломенной крышей. Нынешним летом сыновья перекрыть хотели – отговорила их от глупой затеи: зачем пустым делом заниматься? Не велика барыня, и в этой проживет, сватов не принимать.

– Осеняет, вишь, смеркается быстро, – нарушил молчание Никодим. – Пора домой грести. – Пожаловался: тебе хорошо – лужок перебежала и – дома, а мне вон куда брести надо! Доведется в наших краях бывать – заходи: телевизор посмотрим, чайку попьем.

– Ступай, ступай, чаевник!

– Скоро белые мухи полетят. – Никодим зябко передернул острыми плечами. – Мой добрый совет – замок на двери и катай к сыновьям. Зиму перекантуешься в городской квартире.

– Можно подумать, с хлебом-солью ждут, – усмехнулась Евдокия Лукинична.

– Эх ты, горемычная, – сказал Никодим, – никогда в жизни не умела видеть своего интересу!

Прыгающей походкой (сказывалась фронтовая контузия) Никодим пошел к недалекой дороге. В тишине вечера было слышно, как под его кирзовыми сапогами шуршала сухая трава, потрескивал непрочный ледок лужиц. Потом он вышел на грейдер и скрылся за высоким чернобыльником. Вокруг стало тише и сиротливее. Евдокия Лукинична осмотрела покосившиеся низкие стены коровника, подавила готовый вырваться вздох и узкой тропкой тоже отправилась к себе на выселки.

Неторопливым шагом она шла мимо облетевших кустов и слушала тишину осеннего вечера. По ветвям широко прошумел ветер и, казалось, выцедил последние остатки дневного света, робко цеплявшегося за пригорки и высокие кочки. Она невольно оглянулась – брошенная ферма провожала ее пустыми глазницами окон. И от мысли, что ей больше незачем вставать ранним утром и росистым лугом босиком идти к ферме, защемило в груди, как это бывает на кладбище, когда хоронят близкого человека, и ты стараешься сдержать подступающие слезы. Конечно, Никодим прав: почитай тридцать пять годочков каждый день торила к ферме эту тропу. Каждый кустик, всякий изгиб знаком ей.

Да, утром и вечером она ходила по своей тропе, а над нею косяками перелетных птиц тянулись годы, и, пожалуй, Евдокия Лукинична никогда не задумывалась: как она, собственно, живет? Счастлива ли? Не до того ей было; просто жила, как и все сельские женщины: растила детей, колхозных коров доила, наскоро управлялась со своим нехитрым хозяйством, – и эта повседневная привязанность к большим и малым заботам не давала поднять голову и посмотреть дальше завтрашнего дня.

А ведь и она, Дуня, в радостном и горьком сорок пятом с затаенной тревогой ждала своего суженого. Сережа Парменов, сельский гармонист и песенник, в последние месяцы ненасытной войны попал в госпиталь. Судя по скудным письмам, должен был скоро вернуться домой.

Отгремели хмельные хоры майских соловьев, откуковали вещуньи-кукушки, надрывно отголосили солдатские вдовы, и большая тишина опустилась над селом. Дуня ждала. Справила себе платье (перешила из материнского подвенечного), но не вышло у

нее свадьбы с горячими тройками и малиновым звоном разливистых бубенцов.

Сергей вернулся домой на костылях. Вначале думала, сам придет к ней, а он даже на улице редко показывался: целыми днями сидел в хате с занавешенными окнами.

«Сережа Парменов иноверцем стал! – ужами поползли по селу слухи. – За границей в другую веру его перекрестили!»

В конце концов, Дуня не выдержала томительного ожидания. Однажды надела свое зеленое платье и, разрывая цепкие путы девичьей стыдливости, переступила высокий порог парменовской хаты. (Сколько раз, бывало, бессонными ночами она мысленно видела, как вдвоем с Сергеем они поднимаются на это крыльцо, входят в хату!)

От наглухо зашторенных окон в комнате стоял полумрак, и только лучик закатного солнца нерешительно проникал в крошечное отверстие. Когда глаза привыкли к темноте, она увидела Сергея, навзничь лежащего на деревянной кровати. Он рванулся было встать, но, мучительно поморщившись, снова откинулся на подушки.

– Пришла? – прошептал он бесцветным голосом, прикрывая глаза. Тон его голоса обидел Дуню. Подумаешь – раненый! Да их вон сколько! И ничего, не хуже других живут! А этот разговаривает, ровно с чужачкой. Разве она такую встречу ожидала! Ничем не выдав своего состояния, сказала участливо:

– Ты лежи, тебе нельзя вставать.

– Вот спасибо – просветила мою темную голову! Если хочешь знать, мне теперь абсолютно ничего нельзя! – засмеялся Сергей надтреснуто. – Ходить по земле, любить – ничего, понимаешь, ничегошеньки нельзя!

– Зачем так расстраиваешься? – сказала Дуня, в глубине души чувствуя страшную правду его слов. – Поправишься – все будет хорошо! И не верила самой себе. Ничего хорошего больше не будет. Это она почувствовала сразу, едва только увидела Сергея, мысленно поразившись происшедшей в нем перемене: буквально ничего не осталось от прежнего весельчака и балагура. Теперь перед ней лежал сломленный несчастьем, озлобленный человек, с первых же слов оттолкнувший робкую попытку Дуни приблизиться к нему.

Больше говорить им не пришлось. Широко распахнулась дверь и в комнату стремительно вошла, почти вбежала, мать Сергея Наталья Ивановна.

– Дуня? Ты здесь? А я вошла на крыльцо, слышу – разговоры! Думаю, кто бы это мог быть? Оказывается, ты пришла! Тебя мать по всему селу ищет, ступай, милая, домой, ступай! Врачи наказывали больному покой блюсти...

– Мама, какие врачи? – приподнял голову Сергей.

– Лежи, без тебя разберемся!

Едва они вышли на шаткое крыльцо, Наталья Ивановна обняла Дуню за плечи и зашептала взволнованно, обдавая щеку горячим дыханием:

– Ты больше к нему не приходи, ясно?

– Тетя Наташа...

– Не перебивай, слушай! Когда-то я и сама думала – лучше пары, чем вы, нет. Но, видно, не судьба!

– Мне он и такой люб, – сказала Дуня.

– Глупенькая девочка, – сказала Наталья Ивановна. – О чем ты говоришь! Молодая, здоровая – тебе детей надо рожать, а Сережа после ранения неспособен больше для мужицкого дела и ни на что не способен. Ступай! – И подтолкнула ее в спину. Спустившись с крыльца, Дуня оглянулась: уткнувшись лицом в дверной косяк, Наталья Ивановна сдавленно всхлипывала, ее плечи мелко вздрагивали.

Словно в странном полусне Дуня вышла на дорогу и, почти не чувствуя под ногами земли, очутилась за сельской околицей. Казалось, руки и ноги существуют сами по себе. Во всем теле сквозил пронизывающий холодок, ощущалась давящая усталость. Новое платье плотно облегало тело, и, вероятно, от него шел этот нестерпимый холод; внутри протяжно звенела монотонная пустота. Не разбирая дороги, Дуня подошла к ферме. Коров подоили, женщины уже разошлись по домам. Вокруг было тихо и только одни ласточки с веселым чиликаньем еще кружились над крышей. Потом смолкло и птичье чиликанье, потянулась темнота.

Над лугом стлался плотный туман, делая предметы расплывчатыми и таинственными. Вскоре показалась припадающая на одну ногу коренастая фигура. Отсюда, с пригорка, она казалась большой и страшной. «Моя судьба, – подумала отрешенно, – это

она, голубушка! Что же будет теперь?» Дуня прижала холодные ладони к пылающим щекам, не в силах сдвинуться с места.

Колхозный конюх Митроша Дымов неторопливо поднялся на пригорок, в такт шагам размахивая большими, как клешни, руками.

– Вон какой туманище разлился, – сказал он, – в нем и заблудиться недолго. А ты, случем, не меня ждешь? – спросил он. – Вырядилась, ровно на престольный праздник.

– Может, и тебя, – прошептала Дуня холодными губами.

– Это хорошо, коль меня, – сказал Митроша. Отбросил недокуренную цигарку, подошел к ней вплотную, крепко взял за руку выше локтя.

– У тебя жабья кожа, пойдем, погреемся. – И повел ее за собой.

В крошечной пристройке, где обычно стояли молочные фляги и куда заходили отдохнуть и обогреться доярки, пахло кислым молоком, нетопленной печью.

– Тут тепло, – сказал Митроша, – садись! – И подвел ее к жесткому топчану, покрытому стеганым одеялом. – Вон как дрожишь! На, погрейся. – Из бокового кармана пиджака вытащил бутылку, плеснул в граненый стакан. Огнистая влага больно обожгла рот, забила дыхание. Дуня закашлялась. – Ничего, – сказал Митроша, – закусим. – И дал ей теплый огурец. «Теперь все равно», – подумала отрешенно Дуня, жуя горьковатую мякоть.

Митроша закурил, жадно затянулся, подошел к окну и долго смотрел на пустынную в этот час дорогу. Потом налил самогона в кружку, одним дыханием выпил и тоже начал закусывать огурцом.

– Хорошо, – проговорил он тихо. Подошел, сел рядом и крепко обхватил за талию, другая рука тяжело легла на колени. Она попыталась освободиться.

– Спокойно, – сказал он и еще крепче прижал Дуню к себе.

От прикосновений его грубоватых рук по телу поплыло приятное тепло, ей стало тяжело дышать. Одним рывком Митроша опрокинул ее на спину.

– Пусти, слышишь, пусти, не надо. – К горлу подступили слезы, и она заплакала, по-детски всхлипывая. – Не надо, не надо – как в забытье шептала Дуня.

– Надо! – Митроша властно придавил ноги, потом навалился на нее. Пытаясь оттолкнуть, обхватила за шею.

– Мне тяжело, пусти, – шептала Дуня, а молодое здоровое тело бесстыдно тянулось к мужской ласке, и она крепко обняла Митрошу.

– Дуня, ты не думай, я не ради баловства с тобой, – сказал Митроша. – В сельсовет пойдем, распишемся, чтобы, значит, все как у добрых людей было.

– А ты меня спросил, черт хромой? – Дуня привстала на локоть. – Не желаю за тебя замуж идти!

– Как так?

– Не люб ты мне, Митроша, – сказала Дуня. – Сегодня моей бедой попользовался, почти силком взял. Любовь моя умерла, ты вороном прилетел на мертвечину. – Она села на топчане, одернула помятый подол платья, пригладила волосы.

Митроша слушал ее молча, только едва заметно подергивался уголок плотно сжатого рта. Затем взмахом руки он опрокинул Дуню, придавив ее плечи к доскам топчана, прошептал со всхлипом:

– Что, моею хромотою брезгуешь? – От тяжелого удара по щеке в глазах у Дуни поплыли огнистые круги. Она не успела ничего сообразить – новый удар ожег щеку.

– Митроша! Пошутила я! – крикнула сквозь слезы. – Подумай, куда я после тебя пойду, кому такая нужна?

Не отвечая, он начал исступленно целовать лицо и шею. «Зверюга», – пришла невольная мысль, и Дуню вновь захлестнула жаркая волна.

– Довольно, – прошептала едва слышно. – Как мне такой домой являться?

– Никак, – сказал Митроша, – пойдешь ко мне: мать к родственникам уехала, теперь я один домовничаю. Вставай, будем отправляться.

Так она ушла из своего девичества в длинную женскую жизнь...

Утром Дуня топила печь у Митроши. Выстиранное платье висело на веревке, а она управлялась в черной юбке и холщевой кофте Митрошиной матери.

– Ловко орудуешь, – одобрил Митроша, – будто всю жизнь стоишь у нашей печи.

– Нам, бабам, всякая печка – родня.

– Ладиста отвечать, – сказал Митроша. – Когда в сельсовет?

– По мне, хоть никогда, – сказала Дуня.

– Ну, нет, дорогая. Не хочу, чтобы мои дети подкрапивниками росли. Готовься, завтра утречком пойдем...

Под окнами промелькнуло сердитое лицо матери. Дуня невольно попятилась в угол.

– Дунька, сатана! Что же ты натворила?

– Зачем шуметь, Полина Никифоровна, – сказал Митроша, вставая ей навстречу. – Дуня вышла замуж.

– За кого же это?

– Перед вами – законный зять, теперь вы мне мамашей приходитесь.

– Вот так сыночек выискался, черт бы тебя побрал! Дунька, чего молчишь? Вы уже?..

– Все нормально, – сказал Митроша довольно.

– Отчебучила. – И мать тяжело опустилась на табурет.

– Ближе к столу, – пригласил Митроша, – завтракать будем.

Дуня поставила на стол сковородку жареной рыбы, миску с малосольными огурцами, нарезала хлеб. Митроша вышел в сенцы и вскоре вернулся с темной бутылкой. Открыл поставец, вытащил граненые стаканы.

– По такому случаю не грех выпить, – сказал он.

– Ничего не поделаешь, – вздохнула мать. Выпила рюмку, тыльной стороной ладони вытерла губы, судорожно всхлипнула.

– Мама, ешь, – сказала Дуня, – слез на наш век хватит...

Глубокой осенью, в преддверии близкого снега, когда Дуня заметно стала полнеть, однажды она встретила Сергея. Тяжело опираясь на костыли, он стоял на крыльце. От серого неба лицо его казалось еще бледнее.

– Дуня, здравствуй, – окликнул он неуверенным голосом. И хотя с того печального памятного вечера прошло несколько месяцев, и Дуня стала замужней женщиной, и ждала ребенка, кошачьими коготками в душе шевельнулась боль, и она, подавляя в себе эту непрошеную гостью, нарочито весело ответила:

– Здравствуй! Свежим воздухом вышел подышать?

– Угадала, – улыбнулся Сергей. – А ты, видно, успела надышаться – вон как раздобрела.

– Какая есть, – сказала Дуня, чувствуя, как лицо заливает краска гнева. – Видели такого судью? Разве забыл, как твоя мать меня за порог выгнала? Теперь насмешки строишь! Запомни, никому я неподсудна!

– Что ты, Дуня! Я без всякого умысла сказал! Коль шутки моей не приняла, прости, больше не буду, – смешался Сергей.

Не отвечая, Дуня пошла обочиной дороги.

С той поры она больше Сергея не встречала. Следующим летом Наталью Ивановну судили за украденное зерно. Сергея отправили в дом инвалидов. Так не стало на селе семьи Парменовых...

У нее тоже не сладилась жизнь: видно, вдовья доля на роду ей была написана. Дуня родила двойняшек – двух мальчиков. И когда после родов лежала в больнице, вороньи крылья беды закрыли перед нею белый свет: Митрошу убила лошадь. Вышла из больницы – мужа уже похоронили.

С того дня внутри у нее что-то замерзло и не может никак отогреться, а возможно, некому было растопить тот лед. Поздно теперь жалеть...

В полной темноте Евдокия Лукинична подошла к своему огороду. Здесь привычно пахло картофельной ботвой, палыми листьями берез – их белые стволы слабо светились в густых сумерках. Деревья стояли задумчиво, точно прислушиваясь к шагам недалекой зимы.

«И впрямь надо было к сыновьям поехать, – подумала неожиданно Евдокия Лукинична, – чего, в самом деле, стены караулить?»

Из-за наличника она достала ключ, открыла скрипнувший замок и через сенцы, где густо пахло укропом и спелыми антоновками, прошла в комнату. Не раздеваясь и не зажигая огня, присела у стола, облокотилась на ладонь и долго смотрела в темное поле. Бесформенными кучками там вставали ометы соломы, слабо отсвечивая верхушками на фоне угасшей зари.

Было тихо. Потом запел сверчок, сонно зажужжала муха, тупо ударяясь в оконное стекло.